

Природа дурана совершенно не исследована. Даже люди вполне здравомыслящие не дают однозначного определения этому понятию и включают в него то глупца или безумца, то шутника или кривоного, то мистификатора или самосброса. Народное творчество выделяет зато особую породу дуранов, способных побороться с серым волком или жеяться на зеленой лягушке, обсуждать с замшелой шучой проблемы бытия и лихо ездить на печке, как в автомобиле. Короче говоря, вести себя нестандартно, поступать не так, как все, или просто чудить. «Было у отца три сына: двое уминых, а один беспартийный», — объяснял пропагандист гнилой интеллигент в зените зрелого застоя.

Москва была всегда соборна чудачами, пренебрегавшими настойчивой рекомендацией тоталитарного режима: не высказывайся! В 1926 году один из них опубликовал в майском номере «Косого мира» необычную «Повесть непогашенной луны».

В начале того периода в жизни страны, который окрестили поздним реабилитансом, гуляла по Москве легенда, будто наборщики 1926 года, вспоминая свои дореволюционные подвиги, вывели из типографии то ли гранки этой повести, то ли часть конфискованного тиража журнала. И с тех пор вот уже 30 лет хранилась эта криминальная проза на чердаках наних-то подмосковных дач. Потом стала заходить на кухню, тогда еще не совсем привычных отдельных квартир таимоздская книга небольшого формата в мягкой обложке, потерятой от многих рук и переплетываний. Принадлежность к языку популяризации лет говорила она о странной смерти командира Гаврилова, героя грандиозной войны, только что выздоровевшего от язвенной болезни, зачем-то отправив на операцию не врача, а руководителя государства, и ладья людей убивать себе покорных и умирать, безропотно лег на операционном столе, подчинившись приказу и предчувствуя неизбежность своей гибели. Повесть проглатывали, затаив дыхание и не сомневаясь, что повествование к ее написанию действа чтение, были готовы к тому, что подлинность еще одной легенды, утверждающей: что измученный ночными допросами Б. А. Пильняк «признался» перед расстрелом в связи вредительских устремлений и даже тайных контрреволюционных связей с дореволюционными.

Минуло еще 30 лет, а история не стала ясно, что в прошлом затискло не менее двух загадок, одна из которых связана с внезапной ночной наградой по военным и морским делам, а другая — с сагой «Повестью непогашенной луны». Если Пильняк напечатал художественный вымысел, то почему вокруг его повести разгорелся многолетний скандал, стоявший автору головы? Если же он человек, бесконечно далекий от медицины, рассказал о доподлинных событиях то откуда почерпнул нужные сведения?

фармакологи, ни хирурги этим плетневским определением по отношению к наркотическим препаратам не пользовались. Пильняк же, описывая течение наркоза в своей повести 10 лет назад, подчеркивал: «Есть организмы, которые к тем или иным наркотикам чувствуют идиосинкразию», — Гаврилова усыпляли уже двадцать семь минут».

Сложное слово из греческих корней «идиосинкразия» — совершенно чужеродное в лексике писателя. Этот термин означает повышенную чувствительность к какому-либо веществу, которая проявляется немедленной реакцией организма. Это слово нельзя употребить с глаголом «чувствовать» и распространять на 27 минут введения большого в наркоз. Пильняк внес в свой текст услышанное им звуковое понятие, не представляя себе ни его смысла, ни стоящей за ним клинической картины, но в целом оразив, вероятно, мнение Плетнева по поводу операции и наркоза.

тайской философии: смотрю на него и не вижу — поэтому называю его невидимым, слушаю его и не слышу — поэтому называю его неслышимым...

Ситуация менялась, когда человек не отказывался от другого принципа: имеющий уши да слышит. Обретение знания порождало нередко конформизм, незаметно переходящий в цинизм, или своеобразный энтузиазм как форму психологической защиты, особенно выраженную в 1930-е годы. Но кто-то оглядывался окрест себя и вдруг замечал, что душа его «страданиями человеческими узавлена стала». Тогда могли возникнуть одинокие очажки сопротивления.

На роль чудака и тем более участника сопротивления Пильняк вовсе не претендовал. Рыжий, длинный, нескладный, очень простой и даже милый в общении, он производил иной раз впечатление хитреца и пройдохи, ловко устроившего свои отношения с властью. После беседы с ним М. М.

обеих лопатках. Так положила его история». В январе 1925 года Воронский констатировал в письме Горькому, что «Красная новь» захвачена «напостоями» и в журнале «хозяйничает» Раскольников.

Незадачливый литератор, избравший себе в качестве партийной клички фамилию пресловутого героя Достоевского, предводитель оставшихся от вседозволенности революционных матросов и безукоризненный исполнитель тайных ленинских поручений, Раскольников был «человеком идеи» и солдатом партии. Не склонный ни к юмору, ни к рефлексии, он в любое дело вносил истовость фанатика и был готов без раздумий возглавить отряд моряков, грабящих дома духовенства, и лично обыскать редакцию презираемой большевиками либеральной профессорской газеты «Русские ведомости», разогнать Учредительное собрание и затопить Черноморский флот в Новороссийске, командовать

мнятой комиссией 3 марта 1925 года.

Схема разработанной Фрунзе военной операции была простой и эффективной. Признать свою некомпетентность в разбираемых вопросах, но подчеркнуть их политическую важность. Привлечь в союзники Ленина, который высказывался против теории пролетарской культуры как практической задачи текущего дня. Имитируя наступление, совершить ложный выпад против Воронского; покурить его за какие-то ошибки в «организационном подходе» (хорошо овладев наркомом жергонном политического абсурда), но отметить правильность его теоретических оценок. Сразу же вывести из-под обстрела Пильняка («Я лично не являюсь его поклонником, мне не нравится его манера писать, но кое-чему, несомненно, можно научиться и у него»). След за этим, искусно перегруппировав разные понятия, приступить к фронтальной атаке против «напостоя»: указать, в частности, на их политически вредные, даже опасные для пролетарского искусства методы борьбы. Не стала еще тактической задачей уничтожение литературных люмпенов, развести части нападавших охранников пролетарской культуры и обороняющихся ценителей язычной словесности на исходные позиции.

Легендарный полководец гражданской войны одержал свою последнюю победу — на этот раз на литературном фронте. Формально схватка (или, как выражались тогда, дискуссия) завершилась 1 июля публикацией постановления ЦК РКП(б) о художественной литературе. Фактически Воронскому вернули журнал еще в марте, а Раскольников замах на время в своем уделе.

Трагедия писателей-попутчиков постепенно стихала. Осенью Пильняк отпраздновал в очередной зарубежный вояж, а по возвращении узнал неприятные подробности о смерти Фрунзе. Так и возникла «Повесть непогашенной луны» — из благодарности этому человеку, посещавшему на выручку в беде, из неприятия ситуации, сложившейся в стране, из того особого чувства личной ответственности за все происходящее вокруг, которое вынуждал литератора преодолеть страх и записать свои свидетельские показания для суда современников и потомков.

Теперь за поклонников свободного слова взялись всеякие. Воронский казался, сидел и все сильнее страдал от боли в сердце и непонимания подоплелки текущих событий. Пильняк тоже публично каялся и снова грешил в печати, пока не пришла ежовщина: «А мог бы жизнь просвятить сговором, завесть ореховым пирогом... Да, видно, нельзя никак».

Сколько лет всей стране внахали: всякий народ достоин своего правительства. С классиками немецкой философии спорить не принято. Но всегда ли достоин или заслуживает своего правительства каждый гражданин? И как все-таки поступать тому, кто не готов смириться с толпой, возмущенной правительством, не способен зарезвиться массовой агрессией или энтузиазмом, не в силах кричать с остальными: «Распиши его»? Как уберечь личность от соблазнов конформизма и страха государственного насилия? Как сохранить право человека стать недостойным своего недостойного правительства? Один ответ нашел когда-то Галилей, другой — Джордано Бруно. Свой вариант ответа оставил и Борис Пильняк.

Виктор ТОПОЛЯНСКИЙ

Вариант Бориса Пильняка

Действующие лица

СОВРЕМЕННОСТИ сразу же сумели заглянуть под маски персонажей повести. По одному лишь описанию внешности и упоминанию об орехово-звуском подполье и «полководческих доблестях» читатель догадывался, что за командиром Гавриловым стоял Фрунзе. Прототипом негорбачего человека в «доме номер первый» явно послужил Сталин. Казалось даже, что Пильняк местами проговаривался вполне намеренно, сообщая, например, как в кабинет негорбачего человека входили двое «из той тройки, которая вершила». Подозревали также, что за революционером «из стаи славных», дважды промелькнувшим на страницах повести под партийной кличкой Потал, скрывался Ворошилов.

В другие командармы, выведенные под фамилией Попов, литераторы легко узнавали редактора журнала «Красная новь» Воронского, что тот немедленно подтвердил в письме М. Горькому: «А зовут меня Александром Константиновичем, сыном Поповым. Из семидесятков». Для врачей не составляло труда определить истинные фамилии хирургов: В. Р. Розанов писатель назвал Лозовским, И. И. Грекова — Кокосовым. Незаметным «хлороформатором» был А. Д. Очкин — впоследствии один из ведущих хирургов лечебно-санитарного управления Кремля. В повести отсутствовал лишь четвертый участник операции — знаменитый хирург А. В. Мартынов, ассистировавший Розанову.

Пильняк находился за границей, когда умер Фрунзе. Домой писатель вернулся только во второй половине ноября 1925 года, проведя самостоятельное расследование случившегося и уже 9 января 1926 года закончил свою книгу, небрежно замаскировав ее документальную основу.

В недавно напечатанном сборнике мрачных легенд социализма под названием «Сталин без маски» говорится, будто какие-то детали прокисшего поведаль писателю известный чекист Я. С. Агранов: Пильняк якобы показывал это на следствии. Ни болтуном, ни чудачком Агранов не считался; наоборот, был он чекистом настолько правдивым, правдивым и преданным своему делу, что даже Главная военная прокуратура, рассматривавшая его дело в 1955 году, не сочла возможным его реабилитировать, так как в своей чекистской деятельности «он допускал систематические нарушения социалистической законности». Просто общение с одаренными людьми входило в служебные обязанности Агранова, поэтому и выступал он в качестве приятеля Пильняка, друга Бабеля или поклонника Зощенко. Никаких показаний на него Пильняк не давал. Как видно из материалов недавно опубликованного следственного дела писателя, в повести он «открыто отобразил все свои троцкистские взгляды» прежде всего под влиянием Воронского.

Вот тут нижнего секретета и не было. Больше того, сам Воронский писал Горькому в начале июля 1926 года: «С высокими людьми после пильняковской вещи у меня довольно натянутые отношения. Меня обвиняют в интрижке Пильняка. Кое-что, как правда, узнал от меня, но в самом главном я неповинен».

Горький возмущился повестью сразу по прочтении и в запломатстве окестенел настолько, что через 9 лет, 7 ноября 1935 года, доносил секретарию ЦК ВКП(б) А. А. Андрееву: «Существует «меченатство», и весьма часто литератор ценится не по заслугам его, а по симпатии. Пильняку прочтется рассказ о смерти т. Фрунзе — рассказ, утверждающий, что операция была не нужна и сделали ее по настоянию ЦК». В своем праведном гневе патриарх социалистического реализма упустил из внимания, что Воронский считал себя виновным лишь частично, и поэтому не разбивал других зачинщиков «сплетни» (так определил он поэсть Пильняка).

Между тем повесть содержала такие медицинские подробности, о каких писатель, собственным опытом болезни не обладавший, не мог иметь представления. Контакты Пильняка с официальной медициной носили преимущественно светский характер. Лишь однажды посетил он поликлинику ЦЕКУБУ в Тагаринском переулке (в основном с целью получения путевок в санаторий), правда, жаловался иногда на боли (давали) и довольно часто бывал в Доме ученых, где собиралась наиболее известная профессура. О течениях наркоза с точным указанием его продолжительности, репликах хирургов во время консилиума и операции или о шоке и смерти от передозировки хлороформа он мог услышать только от врача.

Высоко ценящие сталинизм окружением Розанов и Очкин правила секретности блюди неукоснительно; Греков уехал в свою ленинградскую клинику еще в начале ноября; Мартынов с литераторами практически не общался. Оставался тем не менее еще



один человек, чье любопытство заглянуло порой элементарно осторожно, а знание тайн кремлевского двора выглядело почти непристойным, с точки зрения надзирающих и карающих органов. Это был профессор Д. Д. Плетнев, срочно вызванный к умирающему Фрунзе для проведения, как говорят теперь, реанимационных мероприятий.

Для писателя впервые познакомился с профессором, наверное, не так уж важно, но точек жизненных пересечений оказалось у них достаточно много. Они могли встречаться на заседаниях Московского литературно-художественного кружка, куда Пильняк назвужал с 1915 года, а Плетнев ходил регулярно чуть ли не со дня основания. Они могли беседовать в уютной квартире известного московского зрудита и остроума Г. А. Рагинского, у которого еще Андрей Белый — «бирюзовый учитель, мучитель, властитель, дурак» — учился культуре, или в одном из домов в переулках Пречистенки, где старинная интеллигенция обсуждала свои вопросы. Они могли видеть друг друга в Доме ученых или в первом санатории ЦЕКУБУ «Узкое», где писатель увлеченно работал, а профессор время от времени отвлекался от городской суеты.

Органически не способный строго придерживаться приличий и условностей тоталитарного общества, профессор поговорить уметь и анинал себе подчас не без потаенного удовольствия. В застойной беседе с приятной компанией он мог легко сорваться на километровые монологи, размазываемые, словно дорожными указателями, поочередными репликами окружающих. Врожденная общительность, усугубленная профессиональными привычками любимого студентами лектора, делала его увлекательным и неистощимым рассказчиком. По мнению современников, он и пострадал в 1937 году «за длинный язык», но не поделиться с близкими и частью знакомых очередной сенсацией было для него по меньшей мере затруднительно.

А сведениями Плетнев располагал неслучайно, ибо не раз консультировал и самого Фрунзе, и его жену, да еще провел почти сутки у постели умирающего наркомана и составил собственное суждение о причине фатального исхода. Если именно он передал Пильняку свои умозаключения, то можно предположить, что четвертый участник операции, не упомянутый в повести ни случайно, Мартынов был из круга самых близких друзей Плетнева? Но существует еще одно необычное, косвенное свидетельство того, что профессор действительно передал Пильняку какую-то долю скопившейся у него информации.

В 1936 году Плетнев выступил в свет руководству для врачей «болезни сердца». В одной из его глав профессор сетовал, что иногда приходится лишь констатировать сам факт скоропостижной смерти при наркозе хлороформом, «давая ему не объясняющее существа явления название идиосинкразия». Ни

Как всякий литератор, не имеющий врачебного образования и подгоняемый сенсацией, Пильняк не мог обойти без медицинских оплошностей. С его легкого пера соскочила и до сих пор гуляет легенда о нецелесообразности злосчастной операции. Между тем Фрунзе действительно нуждался в ней. Обнаруженная у него глубокая хроническая (каллезная) язва двенадцатиперстной кишки, периодически повторяющиеся желудочно-кишечные кровотечения и возникшие вследствие многолетнего заболевания резкое сужение выходной части желудка (стеноз привратника) были и остаются прямыми показаниями к хирургическому вмешательству, а в те годы выделяли еще и социальное показание — восстановление трудоспособности больного в кратчайшие сроки.

Парадоксальность ситуации заключалась, однако, в том, что ни хирургов, и так уверенных в необходимости операции, оказывали дополнительное давление с той же целью. Негорбачий человек не упускал возможности каждого случая, сопутствующий его планам, возвести в ранг исторической неизбежности и добиться исполнения ее любой ценой. Фрунзе давно мешал ему независимости суждений и стремлением освободить армию от опеки ГПУ, авторитетом в войсках и уважением в партии. Перед очередным партийным съездом в конце 1925 года наркомвоенмор, поддерживающий Зиновьева и достаточно лояльный по отношению к Троцкому, казался генеральному секретарю просто опасным.

Через два года после смерти Фрунзе в заключительном слове на XV съезде ВКП(б) Сталин сравнил свой путь к единоличной власти с движением политической тележки, из которой выпала на крутых поворотах часть старых лидеров партии. Ни Воронский, ни Плетнев, ни Пильняк не имели, казалось бы, никакого отношения к этой политической тележке. И все-таки «Повесть непогашенной луны» и тогда, и теперь воспринималась как форма протеста, ухаж на дороге к диктатуре.

Исполнители

ИДЕЯ всеобщего покаяния, нашедшая временный приют в тоскующих грезх растерянной интеллигенции, была, наверное, известна иррациональной. Можно понять тех, кто бил себя в грудь, точно идеей в Божьей Барабан, передавая единомышленникам одно и то же сообщение: от нас все скрывали, мы ничего не знали, поэтому никакой вины на нас нет и каяться нам не в чем. Можно понять даже тех, кто нехотя признавался: мы располагали некоторой информацией, но исполняли приказ. И непонятные, и получившие доступ к толкам секретов дьявольской кухни поступали, очевидно, по принципу, отраженному в древнеки-

Пришвин «понял о пустоте всех, кланяющихся в верности партии». Он казался К. И. Чуковскому шальным и путаным, но оставался «вездным» и беспрерывно путешествовал по всем странам мира; он шатался по ресторанам «со всякими кожаными куртками», и они подписывали нужные ему бумаги; его непотребно клеймили ортодоксальные марксисты, а он продолжал выпускать книгу за книгой и даже собрание сочинений. Он обожал юродство как форму самозащиты, считал И. Г. Эренбург, и раздражал чекистов своими связями с оппозицией, контактами с эмигрантами и ходайствами за крамольных писателей. Еще в 1922 году ГПУ конфисковало его книгу «Смертные мандаты», но это грозное предупреждение впрям не пошло.

Воронский чудил по-своему. Убежденный большевик с большим дореволюционным стажем, он, по его собственному признанию, ученостью не обладал, но сызмальства любил литературу. В те странные годы после гражданской войны, когда время в отдельной взятой стране продолжало неутомимо поворачивать вспять, чтобы, припорошенное строгим приказом «Время, вперед!», устремиться к истокам раннего средневековья, партия поручила Воронскому организовать издательство «Круг» и журнал «Красная новь». Воронский асцелю отдался издательскому делу, начал регулярно печатать Пильняка, Зощенко, А. Толстого и сам получил известность как редактор, критик и прозаик. Он не предполагал, что служба партии и служение язычной словесности малосовместимы. Он увлекся своей работой настолько, что позволил себе сформулировать для советской литературы несколько заповедей: 1) партия обязана руководить, но руководство ни в коем случае не должно превращаться в куровство; 2) тому, кто умеет играть только на флейте, не надобно совать барабан; 3) не уклоняй сердце мое в слова лукавствия.

Ненависть к нему партийных ортодоксов наливалась румянцем, как волшебное яблоко, предназначенное для погубления принцессы в столетний сон. В начале 1923 года общество старых большевиков приняло резолюцию о необходимости решительного пересмотра литературной политики и указало врагов: так называемых писателей-попутчиков и их покровителей — Воронского, Троцкого, Бухарина. Основные идейно-политические обязанности взял на себя журнал «На посту» (позднее «На литературном посту»), объявивший И. Бабеля революционным попутчиком, В. С. Изанова — просто попутчиком, Пильняка — попутчиком в кавычках.

На первых этапах утверждения «культурной гегемонии» пролетариата литературные чекисты представляли себе беллетристику в виде ученого медведя, которого редколлегия журнала могла бы водить за кольцо в носу, чтобы тот показывал в балаганах разные штуки. Но вскоре метод дрессировки сменила тактика классовой борьбы под лозунгами «большевизации» литературы, вытеснения противника с поля боя и безусловной ликвидации «воронщины». К XII съезду РКП(б) в 1923 году И. Вардин выдвинул партийные принципы советской литературы: 1) для художественной правды необходима правда идеологическая; 2) объективной природы соответствует только коммунистическая публицистика и политика; 3) всякая другая партийность, кроме коммунистической, в той или иной степени реакционна; 4) всякий другой класс, кроме пролетарского, в той или иной мере реакционен.

Воронский слабо сопротивлялся. Бухарин мягко возражал, Луначарский слезно просил временно воздержаться от классовой борьбы против одного-двух десятков даровитых писателей. Идеологи пролетарского искусства ничего не слышали. Казалось, что не только любое высказывание самого Воронского, но даже упоминание о нем действовало на сотрудников журнала «На посту», как отар мухомора, употреблявшийся древними германцами перед битвой. В дохристианскую эру на Западе ярость возбуждали растительными веществами, вызывающими галлюцинации; в первой половине XX века на Востоке того же эффекта достигали словом. Идея все более вытесняла материю; революционное сознание все чаще определяло казарменное бытие.

Чисто советскую болезнь «шизоина-комиссия» в те годы еще не открыли, и с чудачками расправлялись иначе. В мае 1924 года при отделе печати ЦК РКП(б) состоялось совещание о политике партии в художественной литературе. Ответственный редактор журнала «Молодая гвардия» и член редколлегии журнала «На посту» Ф. Ф. Раскольников обвинил Воронского в отступлении от марксизма и потребовал не печатать впрям писателей-попутчиков в советской прессе. В сентябре того же года Д. А. Фурманов ликовал: «Наша победа признана ЦК. Воронский — на